



Эдуард Лимонов

Москва майская

Роман

Москва, 2025

альпина
ПРОЗА

УДК 821.161.1-312.6
ББК 84(2=411.2)6-442.3
Л58

Издательство выражает благодарность за поиски рукописи Светлане Лазуткиной, Е.А., Илье Пригожину и Денису Изотову.

Благодарим за предоставленные материалы Hoover Institution Library & Archives («Moskva maiškai» undated, A. Siniavskii papers, Box 92, Folders 4-6, Hoover Institution Library & Archives).

Редактор Татьяна Соловьёва

Лимонов Э.

Л58 Москва майская : [роман] / Эдуард Лимонов. — М. : Альпина нон-фикшн, 2025. — 414 с.

ISBN 978-5-00223-607-7

Эта книга — первое издание романа Эдуарда Лимонова, рукопись которого долгие годы считалась утраченной.

Основные события романа развиваются в три майских дня 1969 года, но, придерживаясь этой хронологической рамки, писатель делает ее границы предельно проницаемыми, рассказывая о том, как вместе с Анной Рубинштейн переехал из Харькова в Москву, как пытался стать своим в весьма неоднородном поэтическом сообществе, искал жилье и средства к существованию, зарабатывая пошивом сумок и брюк. Перед читателем предстает Москва на излете оттепели, богемная и творческая. Среди героев этой книги — Арсений Тарковский, Эрнст Неизвестный, Илья Кабаков, Леонид Губанов и другие участники легендарного СМОГа, Игорь Холин, Вагрич Бахчанян, Анатолий Брусиловский, Генрих Сапгир и многие другие.

Написанный после знаменитой нью-йоркской трилогии, роман «Москва майская» предшествует ей сюжетно: Лимонов пишет текст уже в середине 1980-х в Париже, оставив позади и московский, и американский период, — и эта оптика позволяет читателю увидеть повествователя сразу в двух измерениях.

УДК 821.161.1-312.6
ББК 84(2=411.2)6-442.3

Все права защищены. Никакая часть этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в интернете и в корпоративных сетях, а также запись в память ЭВМ для частного или публичного использования, без письменного разрешения владельца авторских прав. По вопросу организации доступа к электронной библиотеке издательства обращайтесь по адресу mylib@alpina.ru

ISBN 978-5-00223-607-7

© Эдуард Лимонов (наследники), 2025
© Художественное оформление, макет.
ООО «Альпина нон-фикшн», 2025

Часть первая

1

Захрустел раздавливаемый уголь, раздалось пыхтение, то-пот ног по крыше сарая, косо поднимающейся к самому окну, скрип отворяемой рамы, и там, в другой комнате, он неуклюже спрыгнул на пол.

— Что? — Проснувшаяся Анна, посвечивая белым плечом, приподнялась в постели.

— Спи. Квартирант явился...

Эд встал, натянул брюки, вышел в коридор и заглянул в другую комнату. Дверей в нее не существовало. Лысый, чернобородый Революционер в потертом черном пиджаке вынимал из карманов слои бумаг.

— Добрый вечер.

— Ночь.

Эд чувствовал себя хозяином квартиры. Директорский сын Борька оставил ему квартиру до самого августа. Революционера Эд получил довеском к квартире. Как мясники имеют право дать тебе к мясу кость (впрочем, не слишком большую), так Борька всучил Эду Революционера. «Иногда Володя будет приходить спать», — сказал Борька. Эд предпочел бы, чтобы он не приходил. Не потому, что Революционер плох, а потому, что получается, что Эд опять живет с кем-то. Он в первый раз в жизни получил во владение целую квартиру. Пусть и крошечную, с мышами, и тараканами, и облезлым холодным туалетом (расколотая ваза его покрыта несмыываемыми гангренозными пятнами),

но квартиру! В цокольном этаже школы в Уланском переулке, вход со двора. Борькин отец некогда был директором этой школы, когда же он умер, учебные власти постыдились выгнать Борьку Кушера, его мать и сестру. Так они и остались жить в школе. Сейчас сестра вышла замуж, получила большую квартиру, и борькина-кушеровская мать переселилась к сестре. Борька один живет в Уланском и дружит с Богемой. Богема ходит к нему пьяная, кричит, спорит, и начальство школы желает выгнать Борьку. Однако это не просто сделать — выгнать сына покойного заслуженного директора из квартиры.

— Еле свалил от пидаров... Ебаное гэбэ... Два часа их по городу морочил.

Выложив на тахту бумаги, Революционер снимает пиджак.

— Садись.

Он провозит по полу один из стульев.

— Тише. Анна спит.

— Извини. Забыл... — Революционер вынимает из брючного кармана мешочек с табаком и, оторвав от лежащей на столе газеты «Известия» полосу, скручивает цигарку. Закуривает. Табак вонючий — так называемая махорка.

— Самиздат? — Эд кивает в сторону принесенных Волodyкой бумаг.

— Угу... Начало «Ракового корпуса» Солженицына и «Мои показания» Марченко.

— Не боишься таскать с собой?

— Боишься не боишься, надо... Слушай, Эд... — Лицо Революционера проясняется, он вскидывает ногу на ногу. Эд видит перед собой близко расшлепанный, нечищенный ботинок Революционера. — Хочешь внести свой вклад в общее дело? Перепечатай хотя бы пару глав Марченко, а?

— Не могу. Скорость у меня небольшая, и мне свои вещи печатать нужно. Новый сборник.

— Ты не понимаешь, как важно распространить Марченко. Чтобы люди знали, что происходит...

— Понимаю. Но для меня мои стихи важнее.

— Да ты хоть читал Марченко, Эд? — Революционер выдыхает вонючее облако дыма. Закрыв глаза, по запаху можно сказать, что это казарма, вокзал или тюрьма, а не Борькина квартира. Революционер отсидел свои шесть лет и вынес из мест заключения неуничтожимые привычки. Курит махорку, ругается как блатной, а между тем по происхождению он — интеллигентный человек. Отец его был историк, эсер и в прошлом даже террорист. Володька потомственный революционер. В первый раз его арестовали в 1948 году за призыв убивать председателей колхозов. Коллективизация Володьке не импонировала. Революционеру было тогда восемнадцать лет. Разве нормальный человек будет призывать убивать председателей колхозов? Вряд ли...

— Нет, не читал. А кто он такой?

— Ой, бля, молодые люди... Ничто-то вас не интересует. — Положив цигарку в раковину-пепельницу, Революционер встает и, найдя среди хаоса бумаг на продавленной Борькиной тахте нужную ему пачку, протягивает поэту. — На, читай. Это окончание. Начало должно быть где-то у Борьки. В ящиках стола, наверное. Читай сейчас, потому что завтра я должен все это отнести одной нашей девочке-машинистке. Потому Софья Васильевна так и сильна, что все вы не хотите палец о палец ударить, чтобы ее свалить...

Эд думает, что бородатый слишком много на себя берет. Советскую власть — Софью Васильевну — он собирается сваливать. Лучше бы туфли почистил, неряха... Однако он не возражает Революционеру. Володьке под сорок, он побывал в лагерях и тюрьмах, и Эд, хотя и имеющий

не совсем обычное для молодого человека его возраста криминальное прошлое, все же щенок по сравнению с заматерелым, воняющим махоркой и улицами Москвы Володькой-революционером. Он берет папиросной бумаги — тусклые буквы едва видны — листки и вглядывается в них.

— Десятая копия? — спрашивает он вдвинувшегося в стол Революционера насмешливо.

— Думаю, шестая. Слушай, ты читай, но с расспросами ко мне не лезь. Я обещал Якиру статью к утру...

Якиру он обещал. Сын красного командарма Петр Якир — Володькин приятель по революционной борьбе. Вместе они, по рассказам Володьки, постоянно наебывают ГБ, ловко скрываются в лабиринтах московских проходных дворов, прячутся, уходят от слежки, оставляя глупых кагээшников с носом. В описаниях Володьки гэбэшники, они же чекисты, выглядят такими же глупыми и злыми, как немцы в советских послевоенных фильмах, — растяпы, недотепы... Володька же, Якир (фигурирующий в историях Революционера под именем Петька) и их друзья предстают перед слушателем красочных Володькиных приключений подобными Робин Гуду и его лесным братьям — сильными, смелыми, умными. Эду приходилось сталкиваться с парой чекистов в его жизни. Сказать, что они были особенно глупы, он не может. Слушая же Революционера, можно подумать, что в КГБ сдают экзамены по глупости. Мало верится.

Эд отодвигает бумаги с края тахты и усаживается в продавленную поколениями Кушеров яму.

К шести утра, не дочитав десятка страниц, в состоянии полного ужаса он уходит в постель к теплой Анне.

— А? — вздрагивает Анна.

— Спи... — Обхватив большой зад подруги, Эд размышляет. Неужели так все и есть, как этот Марченко пишет? И неужели человек может отрезать себе член и бросить его из окна

к ногам идущей на работу тюремной докторши-суки? Представив себе отрезанный член, Эд дергается, ему становится холодно, и он плотнее прижимается к Анне. А суп из крови? Неужели так вот один зэк может открыть себе вены, а другой — подставить тарелку, накрошить в кровь хлеба и жрать кровь с хлебом? Оооо! Он чувствует во рту вкус кровяного супа с хлебом, и тошнота внезапно подступает к горлу. Блядь, мать-перемать Володьку и этого его Марченко! Он вскакивает и выходит в коридор голым. В Москве май, но в Борькиной цокольной квартирке холодно. А в туалете и еще холоднее. Сорвав с гвоздя тряпку для мытья полов, Эд бросает ее на пол перед гангренозным унитазом и опускается на колени. Засовывает два пальца в рот. Боже, как противно! Пальцами он дотягивается до малого язычка в глубине горла, испытанный прием, и трет его. Конвульсии волною сокращают пищевод. Несколько кружков колбасы и макароны, разумеется уже полупереваренные, изрыгаются в вазу унитаза и смешиваются с вонючей водой. Вкус теплой крови соседа по камере еще и еще заставляет сокращаться пищевод поэта. Проделав операцию несколько раз, он встает и направляется в кухню. Умыться можно только там. У Борьки в квартире нет ни душа, ни ванной. И горячей воды нет...

Проходя мимо Революционеровой комнаты, он видит, что тот лежит на спине, покрытый старым одеялом. Одеяло короткое, и потому ступни в грубо вязанных носках торчат неприкрыты. Борода покоится на одеяле. Со стороны можно подумать, что это труп Революционера, а не живой Революционер. Только тихий храп свидетельствует, что Революционер живой...

«Сука, — думает Эд неприязненно. — Дал мне эти ужасы читать. На хуй мне ужасы. Я и из семьи свалил, и из Харькова уехал, чтобы жить подальше от простых людей и от их ужасов».

— Анна? — шепчет он, улегшись в постель.

— Что? — Анна, оказывается, не спит, она слышала, должно быть, как его рвало.

— Как ты думаешь, может человек отрезать себе член и вышвырнуть его в окно, под ноги обидчице-докторше?

— Что ты несешь, Эд? Спи! — Голос у Анны злой. Она всегда зла, когда ее разбудишь.

— А думаешь, правда человек может накрошить в кровь приятеля хлеб и жрать этот супчик ложкой?

— Черный юмор, да?.. Ты что, трагедию в стиле Хармса всю ночь сочинял?

— Нет... Володька дал Марченко почитать...

Анна глубоко вздыхает и встает. Большое тело смутно белеет в сумеречности комнаты. В щель между шторой и окном вонзились осколки нового дня. Анна натягивает через голову платье и выходит из комнаты. Пошла в туалет.

Натянув на голову одеяло, Эд некоторое время лежит, пытаясь заснуть. В мутном бульоне сна кипят куски тюремного хлеба, съеденные днем куски докторской колбасы, ма-кароны, Володькина черно-седая борода, отрезанные члены и множество истертых на стибах листков папиросной бумаги — Марченко, Солженицын, Солженицын, Марченко... Мутный бульон краснеет, становится тяжелой цементной жижей, которую размешивает ржавая металлическая лопасть. Лопасть размешивает кровавый цемент внутри ганггренозного Борькиного унитаза. Кровавая жижа застывает на глазах и, наконец, останавливается, превратившись в камень, замерзший навечно в последнем витке вулканического кипения. (Такие застывшие последние всплески вулкана Эд увидит позднее в геологическом заповеднике — в коктебельских горах.) Входит Анна, снимает платье, вздыхает и ложится. Тянет на себя одеяло. «У-ууууумммм!» — мычит поэт, сопротивляясь. И засыпает.

Эд Савенко высадился в Москве на Курском вокзале 30 сентября 1967 года в возрасте двадцати четырех лет. Вместе с ним из поезда был извлечен и поставлен на перрон большой черный чемодан. В чемодане находилось все, что могло понадобиться покорителю Москвы в процессе ее покорения. Чемодан был на пару лет младше поэта. Деревянный, оклеенный кожзаменителем, с фальшивыми полосами ремней через все тело, польский чемодан этот принадлежал родителям Эда и был предоставлен ему в порыве душевного великодушия за ночь до отъезда.

Юноша, прибывший покорять Москву, был одет по самой последней харьковской моде того времени. Фигуру его скрывало массивное черное пальто с воротником из меха молоденького каракулевого барабашка, на голове героя красовалась грузинского стиля черная кепка-«аэродром», на ногах были американские армейские сапоги. На сапоги спускались черные брюки с широченными штанинами, брюки уходили вверх под черный жилет, а жилет был покрыт пиджаком той же ткани. Белая рубашка стягивала воедино костюм нашего героя. Рубашка была застегнута на пуговицу, плотно зажимая горло. Галстука на герое не было, ибо галстук противоречил харьковской моде того времени.

С Курского вокзала, где его никто не встречал, поэт отправился, минуя помпезные станции Московского метрополитена, в центр столицы. Достигнув станции «Кировская», поднялся вверх на свет божий и, волоча за собой изрядно вымотавший его силы чемодан, бьющий его по бедру при каждом шаге, прибыл на Главный почтамт. Здесь, после двадцати минут ожидания под колоннами у входа, он наконец увидел направляющуюся к нему подругу свою Анну и друзей — Бахчаняна и Ирину. Анна была направлена им

в Москву на две недели ранее. Имевшая в семье из двух репутацию практичной и живой силы, Анна должна была арендовать плацдарм: комнату, откуда должно было начаться покорение Москвы. Оружием, с помощью которого поэт собирался подчинить себе столицу, должны были служить две ученические тетради со стихами. (Обложки их поэт оклеил синим вельветом. Куски вельвета остались у него после пошива брюк. Заказчик-кинокритик привез вельвет из Польши). Тетради покоились в чемодане.

— Эд! — Сияющая и стреляющая смелыми глазами Анна легко несла крупное тело, водруженное на острые каблуки. Опять дремучебородый Бахчанян и маленькая блондинка Ирина, всегда чуть высокомерная, — тройка друзей Эда выглядела экстравагантно даже на фоне жителей советской столицы. Пожалуй, не менее отличительно, чем они выглядели в родном Харькове. Казалось, однако, что более занятые собой, чем харьковчане, спешащие москвичи не очень-то обращали внимание на персонажей его личной истории.

— Эд, добро пожаловать в Москву! — не смогла удержаться от театральности Анна.

Поэт, желавший выглядеть холодным, ничему не удивляющимся столичным жителем среди столичных жителей, а не провинциалом, прибывшим в столицу, ответил Анне на приветствие грубым вопросом:

— Комнату нашла?

— Почти, Эд... Очень трудно, хозяева боятся. Пока ничего, но сегодня я встречаюсь в шесть часов вечера с одной женщиной, она...

— Что же ты, жопа... Ведь именно для этого ты была послана сюда на две недели раньше...

— Ну Эд... Это оказалось так трудно. Попробовал бы ты сам...

— Не начинайте со скандала, ребята! — вмешался Бахчанян.

Со стороны сцена выглядела более или менее обычно: встреча друзей у Главпочтамта, мало ли встреч случается у Главпочтамта каждый день! Но если отнестись к сцене более внимательно, то придется зачислить ее в разряд столь же знаменательных событий, как вступление д'Артаньяна в Париж или момент, когда после похорон папаши Го-рио Растиньяк бросает с кладбища Пер-Лашез вызов городу. Честолюбец и столица. (Даже сейчас автор этих строк чувствует некоторое дрожание в груди и нижней части живота при воспоминании о том замечательном моменте, отстоявшем от сегодня уже на двадцать лет.) Кто кого — столица сомнет храбреца и откусит ему голову или храбрец наденет узду на дикого зверя и обратит его в зверя домашнего?

В тот свежий полдень они четверо столпились вокруг чемодана, как верующие у символа культа, и решили поскорее избавиться от этого громоздкого объекта, дабы и предаться удовольствиям первого дня столичной жизни, и заняться с необходимым рвением поисками крыши над головой. Чемодан решено было отбуксировать в находившийся сравнительно недалеко Казарменный переулок, где снимали комнату в деревянном доме Бахчанян и Ирина. Именно тогда впервые прошел поэт по Уланскому переулку, с которым будут связаны в дальнейшем многие события его жизни. Уланский переулок — самая короткая артерия, связывающая Главпочтамт с Садовым кольцом. Как раз против Уланского, на другой стороне Садового кольца, начинается улица Маши Порываевой, пройдя по которой несколько десятков шагов возможно свернуть налево в Казарменный именно переулок, к жилищу Бахчанянов. Продев под ручку чемодана толстую ветвь, мужчины взялись за ее концы. Тяжело покачиваясь, чемодан поплыл навстречу своей судьбе, которая

в последующие двадцать лет оказалась куда более интересной, чем в первые двадцать лет его существования. Немало попутешествовав по Москве, чемодан впоследствии посетил Вену, Рим и даже перелетел через океан в Нью-Йорк, где он посейчас и находится на заслуженной пенсии в темноте антресоли почтенного дома в Ист-Вилледже.

3

Чемодану нашлось место в небольшой комнатке в Казарменном. Но его владельцу, увы, места не нашлось. Именно тогда первая легкая тень омрачила отношения двух пар.

— Если мне не удастся договориться с дамой, с которой я встречаюсь в шесть, может быть, Эд сможет у вас переночевать? — спросила Анна, оглядев приветливую комнатку и уже налаженный аккуратной Ириной быт Бахчанянов. — Одну только ночь. Мне есть где переспать. Я всегда могу поехать к Воробьевской.

Поэт недовольно ткнул локтем подругу.

— Анна-аааа! — прошипел он.

— Что — Анна? Очень даже удобно спросить... Ведь Ирка и Бах даже свою брачную ночь провели у нас на полу на Тевелева.

— Ты понимаешь, Анна... — начала Ирина тоном, который не предвещал ничего хорошего. Она была младше всех в компании, но деловитее и собраннее всех. Эд и Анна хорошо знали все ее различные интонации. Интонация, с которой она произнесла «Ты понимаешь, Анна...», выражала смущение и смутившееся раздумье, быстрые поиски причины, которой Ирина могла бы прикрыть свое естественное нежелание иметь в эту ночь спящего поэта на полу их комнаты.

— Понимаешь, Анна, хозяйка будет против... Она предупреждала нас, чтобы мы не оставляли друзей ночевать...

Все неловко молчали.

— А так как мы тут находимся на птичьих правах и к тому же без прописки, — маленькая серьезная Ирка смело поглядела на товарищей, голос ее окреп, очевидно, она сама поверила в свою ложь, — то было бы очень нежелательно раздражать Людмилу.

— Жаль. — Анна презрительно ограничилась этой короткой констатацией факта.

Эд хотя и обиделся и не понял, почему нельзя провести одну ночь на полу комнаты в Казарменном, однако решил тотчас забыть об этом моментальном неловком эпизоде, дабы не создавать дополнительные сложности в отношениях между собой и другой стороной — Бахчанянами. Бах был его ближайшим другом, Бах не был плохим человеком, а то, что он вынужден был иногда уступать маленькой жене и принимать ее условия — ну что ж...

Оставив черный чемодан во временном убежище Бахчанянов, все четверо покинули Казарменный и отправились в забегаловку под названием «Вино», находившуюся на Садовом кольце, где каждый выдоил из винного автомата по стакану портвейна. Сжимая граненые стаканы в руках, они чокнулись и выпили: «За успех! За то, что мы покорим этот ебаный город!» — и согласно впились в шоколадную конфету, выданную каждому вместе с жетоном к портвейному автомата краснолицей дамой в белом халате. Они выпили бы еще по стакану, но на седую и невыносимо ярко-глазую Анну начал обращать все больше внимания пьяный лейтенант с петлицами танкиста, посему наши герои покинули помещение «Вино». Оставив позади кислый запах алкоголя и грохнувшегося в этот момент на плиточный пол оскальзнувшегося на конфете лейтенанта, которого бросились

поднимать другие лейтенанты. «Ведьма! Колдунья!» — кричал упавший, имея в виду подругу Эда Анну Моисеевну Рубинштейн. Но наши герои ушли, не оглядываясь.

Промежуток времени между отбытием из заведения «Вино» и прибытием на Третью Мещансскую улицу, где неофициально собирались в группы и рассасывались на единицы владельцы жилплощади и личности, желающие снять жилплощадь, поэт пробродил по столице, в которой ему предстояло прожить ровно семь лет.

В четвером, а когда Бахчаняны удалились, вдвоем с Анной они прежде всего взрезали народные толпы на площади Маяковского (туда, на священную площадь смогизма, потребовал сводить его поэт), проплыли с толпой по улице Горького до Пушкинской площади. Там живой поэт поглядел на памятник мертвому поэту и вдохнул запах сжигаемых в сквере осенних листьев. Он постоял, подумал, помолчал на фоне вполголоса произносящей нескончаемый монолог Анны (в этот момент она всячески обговаривала недружественное поведение только что ушедших Бахчанянов) и решил, что столь несомненно присутствующий сегодня где-то рядом с ним, касающийся невидимыми крылами его головы черный ангел судьбы (он выбрал черного ангела) устроит так, что они найдут себе жилплощадь. И проведут эту ночь вместе. Нервный и бледный молодой поэт хотя и относился к своей женщины с некоторым высокомерным превосходством (впрочем, доброжелательно прощая ей излишнюю суетливость и старомодные монологи), однако нуждался в пышной плоти подруги. Тело Анны успокаивало его, в ее теле была надежность и плотность, так необходимая хрупкому эфемерному существу, в которое Савенко сумел превратить себя всего лишь за три года. (До этого поэт не был поэтом, но был рабочим парнем — членом комплексной бригады сталелитейного цеха харьковского завода «Серп и Молот».)

Поговорив с Пушкиным, пара направилась на Третью Мещанскую улицу. Самый дальний и надежный карман жилета поэта содержал, забулавленный, драгоценные 150 рублей, на которые пара намеревалась жить как можно дольше. До тех пор, пока не отыщется клиентура для Эда по пошиву брюк и какое-нибудь, как обычно анекдотическое, занятие для Анны. (Забегая вперед, отметим, что еще несколько месяцев у пары не появлялось никаких денег.)

Они прибыли на Третью Мещанскую с опозданием, уже в сумерках, и смешались с негустой толпой, состоящей из следующих элементов. Небольшого числа московских квартирных хозяек. Грузин (в эту категорию входили и настоящие грузины, и представители иных кавказских и азиатских народностей), согласно именующих себя аспирантами, хотя всему миру известно, что грузины приезжают продавать свои фрукты на столичных базарах и трахаться с русскими девушкиами. Провинциальных инженеров и служащих, желающих проторчать в Москве подольше и, может быть, попытать счастья в фиктивном браке с москвичкой. Студентов и студенток из провинции, которым средства родителей позволяли побрезговать общежитием. Молодоженов-москвичей, желающих за 25–40 рублей в месяц получить удовольствие более или менее безоглядного наслаждения сексом без того, чтобы старшее поколение слышало их любовные стоны. Провинциальных фарцовщиков, явившихся в Москву на гастроли... И наконец, категорию «прочих», в которую как раз попадают поэт и его подруга...

Группы собирались и распадались. Вопреки основным принципам социалистического общества на Третей Мещанской имущее меньшинство нагло доминировало над нуждающимся большинством. Оказалось, что у каждого владельца московских квадратных метров были свои фобии и предпочтения, согласно которым он (или она) выбирал жильцов.

Дама с очень напудренным лицом, несмотря на конец сентября одетая уже в черную котиковую шубу — признак зажиточности, искала только девочек-студенток. Злобного вида старуха с хриплым голосом и бородавкой на носу, напротив, не хотела девочек, но желала одинокого мужчину. «Сучки мне не нужны, — охотно объяснила старуха наткнувшейся на нее Анне. — А мужик, он блудит чисто». И, не вдаваясь в дальнейшие подробности, старуха пустилась со своим антифеминистским кредо в плавание по толпе. Иногда на поле появлялся ленивый милиционер, неуверенно шептал: «Расходитесь, расходитесь, граждане...» — и быстро исчезал за ближайшим углом. Очевидно, инструкция не обязывала его разгонять народ на Третьей Мещанской. Впоследствии, за семь лет посетив квартирный «толчок» (от глагола «толкаться», как нельзя лучше изображающего природу отношений толпы на Третьей Мещанской) многие десятки раз, поэт убедился, что милиции было приказано не трогать черный рынок квартир, ибо черный рынок являлся единственной возможностью обрести крышу над головой сразу и немедленно. Не исключена возможность, что даже мелкие официальные лица, переведенные в столицу из провинции, пользовались Третьей Мещанской...

Пробродив в толпе около часа, поэт совершенно пал духом и только молча становился позади своей крупной по-други, когда она высматривала очередную старуху или разбойного вида мужика о природе предлагаемой жилплощади. Смеркалось, с незнакомого поэту неба несло недомашним северным холодом и неуютностью, и такие же неуютные мысли блуждали в голове его. Основной оплот человека в новой местности — пещера, предохраняющая от ветра, дождя и холода, казалась недосягаемым раем. «Жанна!» — с истеричной поспешностью метнулась Анна Моисеевна к привидению в белой высокой шапке из искусственного

пуха. Уродливые шапки эти выпускались предприимчивой рижской фабрикой и были гвоздем женской моды осени 1967 года. Поэт остался на месте и стоял, сунув руки в карманы пальто, справедливо полагая, что его позовут, когда будет нужно.

Так и случилось. «Эд!» — позвала Анна. Он подошел, и его представили. Носатая крупная Жанна, владелица только что полученной (от НИИ, в котором она работала) квартиры в новом районе Москвы, бывшем еще недавно деревней, Беляево-Богородском, к счастью, не решилась сдать жилплощадь двум аспирантам-грузинам, с ними утром видела ее Анна, и вернулась на толчок в поисках другого варианта.

— Жанночка! — говорила Анна Моисеевна со свойственной ей лживой фамильярностью. — Мы с Эдкой очень тихие. Он все время пишет, а меня вообще не слышно. Лучше квартирантов ты никогда не найдешь.

Жанна оглядела поэта, и, по-видимому, его облик не внушил ей опасений, потому что она насмешливо улыбнулась. С весны 1967-го юноша стал носить очки в присутственных местах и на улицах, и очки придали его облику известную безобидность, какую обычно сообщают очки щуплому молодому человеку. Правда, юноша-поэт и пышная с яркими на ветру щеками Анна несколько более, чем это необходимо, контрастировали друг с другом, но при желании Анну можно было принять за сексуальную вампирессу, безжалостно сосущую соки из юнца. Очевидно, белошапочная Жанна — инженер, мать-одиночка — осталась удовлетворена таким вариантом. Люди склонны доверять доступным их пониманию ситуациям и с недоверием относятся к ситуациям незнакомым и неиспытанным. Возможно, мимо Жанны уже прошла однажды подобная неравная пара, может быть, аффектированное красноречие Анны возымело действие — как бы там

ни было, через некоторое время они уже мчались в метро по направлению к искомой жилплощади.

Молодые женщины оживленно беседовали, а поэт испытывал большое облегчение от того, что ему нет необходимости участвовать в беседе. Еще раз он воочию убедился в полезности подруги. То, чего не умел делать Эд, с успехом и удовольствием делала Анна.

4

— Эд, сколько можно дрыхнуть! — Анна Моисеевна, умытая, с уже накрашенными губами, с заплетенной косой, белое кружево воротника наколото на черное платьемешок, нависла над ним. — Ты дрыхнешь, Революционер дрыхнет. Я должна уходить.

— Ну и уходи. В чем дело?

— Что ты там нес ночью об отрезанных членах, вспоминал какой-то суп из крови... Ты не заболел со своим сюрреализмом?

— При чем тут сюрреализм...

Эд садится в постели.

— Володька дал мне почитать Марченко. Кошмар на кошмаре.

— Кто такой Марченко?

— Жлоб, случайно попавший в тюрьму. За незаконный переход границы. После этой книги жить не хочется. На хуя я ее читал, идиот!

Поэт встает и, дабы размяться, делает несколько наклонов. Анна опускает руку в плоскую сумочку и шарит там, время от времени извлекая и выкладывая на ночной стол тот или иной предмет женского обихода. Расческу, помаду,

баночку с ярко-синей краской (ею она обильно окрашивает веки), мелкие деньги, более крупные деньги...

— Ты чего-нибудь хочешь от меня? — Уже в брюках, поэт стоит перед Борькиным зеркалом у постели и расчесывает длинные, остриженные по-московски в скобку а-ля советский Алексей Толстой, волосы. Он с неудовольствием отмечает, что у него физиономия комнатного растения. Рожа бледная. Хотя на дворе май, он редко бывает на солнце. Жизнь его проигрываетя на сценических площадках таких вот, как Борькина, квартирок-трущоб, в которых холодно даже летом. Под аккомпанемент вечно текущих кранов, в писании стихов, в их чтении и слушании чужих произведений, в крикливых спорах об искусстве, и в пьянстве тоже, увы. Дитя подземелья. Нужно поехать в Сокольники с Андрюшкой Лозиным, подзагореть.

— Ты не мог бы съездить со мною в ГУМ, Эд?

— Нет уж, Анюта, ты уж вали сама сегодня. Революционер сливяется, я сяду брюки Судакову шить.

— Эд, я боюсь появляться в ГУМе сразу с десятком сумок...

— Не бери десяток, возьми несколько.

— Куда удобнее было бы, если бы ты поехал со мной, как в прошлый раз. Ты бы стоял снаружи, а я бы брала по однократной — по две...

— Нет, Анюта, исключено, сегодня не могу. Достаточно того, что я шью эти ебаные сумки.

Сумки — их личное изобретение. Один из способов сделать деньги из ничего. Анна покупает несколько метров толстой в узоре крупных цветов чешской ткани, метр стоит 38 копеек, а Эд шьет из ткани сумки. И Анна продает их в ГУМе — Главном универсальном магазине — по 3 рубля штука. Так как неповоротливая советская легкая промышленность не обеспечивает граждан мелочами, то граждане с удовольствием покупают у полуседой еврейской женщины

с безумными глазами красивые мелочи. С такой сумкой куда приятнее ходить по городу, чем с гнусным и скучным советским изделием. Чешские цветы радуют глаз и на морозе, и в осеннюю слякоть. Несколько раз Эд и Анна встречали в Москве свои сумки.

— Не забывай, что сегодня моя свадьба. Чтоб в семь была у Берманов, как штык. Купи цветов, пожалуйста. Не забывай, что мы друзья жениха...

Анна уходит, грустная. И потому, что коммерция скучна в одиночку, и потому, что сегодня свадьба Эда. И хотя и свадьба фиктивна, и в качестве жениха под именем Эдуарда Савенко и с его паспортом будет выступать бывший харьковчанин авантюрист Мишка Преображенский, Анне неприятно, что в паспорт ее поэта будет вписана женщина: Берман Евгения Николаевна... Прошагав некоторое время по Кировской, Анна Моисеевна останавливается у Главпочтамта. Может быть, мама Циля прислала ей немного денег из Киева? Заходит внутрь и становится в очередь к окну с буквами П-Р-С. Когда подходит ее очередь, протягивая паспорт в окно, Анна решает вернуться в Уланский и убедить Эда отказаться от авантюры. Эд не должен жениться на Жене Берман. Слишком сложная получится история. Не только брак фиктивен (в это посвящена лишь мать Жени, папочка, слава богу, не подозревает об обмане), но фальшив и жених. Мишка Преображенский будет играть роль Эда, потому что папа Берман, к сожалению, прекрасно знает пару харьковчан. Эд и Анна прожили несколько месяцев во дворе этого же дома на Цветном бульваре. Кухня Берманов на первом этаже окнами во двор прямехонько глядела на флигель под большим деревом, где обитали, отделенные некрепкой дверью от мира, в компании нескольких дюжин мышей, Эд и Анна. Мишка Преображенский поживет некоторое время в семье Берманов, у них две комнаты.

Месяц или полтора он будет называться Эдуардом Савенко. Слава богу, папа Берман знает настоящего Эда только как Эда Лимонова. Ну что ж, они тезки, что же тут такого. Совпадение. Через месяц-полтора суровый коротыш, папа Берман-очкарик, убедится в том, что Мишка — хороший парень, и пропишет его, то есть Эдуарда Савенко, в Москве. У Эда будет московская прописка. Ради этого и задумана сложная авантюра.

Почему такая сложная? Неужели нельзя заключить фиктивный брак с московской девушкой, у коей папа полегче, чем подозрительный Берман? Почему нельзя заключить фиктивный брак с девушкой вообще без папы или чтобы папа хотя бы никогда не видел Эда (и Савенко, и Лимонова) до этого? Можно. Но для этого они должны быть другими людьми. И Анне, и Эду не хватает обычательской хитрости, мелкой изворотливости. Ловчить они не умеют. Они вовсе не беспомощные типы, но все их стратегические построения страдают от избытка фантазии. Эду нравится сооруженная им авантюра: сегодня в четыре часа она будет приведена в действие. Эд и Мишка уже раскрасили сегмент печати на фотографии Преображенского. Фото будет переклеено в такси, по дороге из загса. Муж Савенко попросит шофера остановиться: покинет такси, и в него рядом с невестой сядет Мишка Преображенский, он должен поджидать их на Садовом кольце.

Почему Преображенского устраивает эта авантюра и почему он соглашается жить с Женей и в семье Берман? Экс-харьковчанин выплыл в Москве лишь пару недель назад. Он вынужден был сбежать из Казахстана без вещей и документов. Эд предпочитает не лезть в чужие истории, если протагонисты их не желают делиться с ним своими секретами, однако Анне он признался, что думает, что за Мишкой в Казахстане осталось мокрое дело. Может быть, Мишка кого-то пришил. Люди не убегают за здорово живешь, просто так, голяком, не прихватив насущно необходимых документов...

— Нам-то что, Анна, — сказал Эд, — Мишка — старый приятель. Он, может быть, и убийца, но своих он никогда не закладывал. Мишка дорожит своей репутацией. Он в плохом периоде, негде жить и даже нечего жрать. Полтора месяца жизни с Женей подымут его на ноги. А там поглядим... Наша же жизнь станет привольнее со штампиком московской прописки в паспорте.

Перевода от мамы Цили не поступило. Собственно, мама Циля и не обещала прислать перевод. Анне хочется, чтобы перевод был. Предстоят большие расходы. Женя Берман согласилась на фиктивный брак не задаром. Сегодня Эд должен выплатить ей половину обещанной суммы. Вручить по пути из загса. В такси. Как в фильмах...

Анна Моисеевна стоит некоторое время у Почтамта в раздумье. Утренний майский ветерок трогает полы плаща-болоньи. В конце концов она решает не возвращаться в Уланский. Эд рассердится, они поругаются, и он все равно поступит по-своему. Эд упрямый. Наклонив голову, широко загребая майскую Москву сумкой, Анна устремляется по Кировской улице в направлении площади Дзержинского. Ее обгоняет сопровождаемая милиционерами черная «Волга» с сиреной.

«Хорошо кагэбэшникам, — думает Анна Моисеевна, вздыхая. — И начальникам. Им прописка не нужна».

5

Эд выходит в кухню. Умываться. Из комнаты Революционера на него накатывает облако сизого дыма. Революционер сидит за Борькиным столом спиной к Эду и быстро водит карандашом по бумаге.

— Доброе утро! Очередная прокламация к народу?

— Доброе утро! Как спалось?

Поэт плещет воду на шею и уши.

— Хуево спалось. Спасибо вам, дорогой товарищ. Подсунули мне подпольную литературку... Кошмарики...

— «В круге...» или Марченко? — спрашивает Революционер, не отрываясь от письма.

— Марченко. Психопат ваш Марченко.

— Почему же психопат? В тюрьме, брат, не сладко. Могу тебя в этом заверить.

— Тюрьмы есть везде, Володя. Есть, были и будут. Без тюрем невозможно. Козье племя друг другу горла перережет без тюрем.

— Марченко — политический. Он сидел за попытку перехода границы.

Поэт плещет водой себе на плечи и хватает полотенце.

— Ха-ха-ха! Теперь это называется политический. Я называю таких, как он, психопатами. Больше того — он самосад. Я тоже мог бы не вылезать из тюрьмы. Это легко — стоит только расслабиться и психануть. Не попасть в тюрьму — вот в чем трюк. Не попасть, но жить так, как ты хочешь. Тюрьма — это поражение. Для того, чтобы сесть, геройство не нужно, нужна глупость.

Высказавшись, Эд тотчас же вспоминает, что Революционер тоже ведь самосад. Каким же нужно быть идиотом или святой невинностью, чтобы в 1948 году призывать к уничтожению колхозов и председателей! В самом зените сталинского времени!

— И все же, как я понимаю, книга произвела на тебя большое впечатление. Она тебя задела, Эд... Но разве ты не понял, что марченковская тюрьма — модель советского общества?

— Так задела, что я блевать вставал. Наворотил такое количество ужасов! Я ни хуя не верю в эти тюремные истории.

Они того же происхождения, что и охотничьи или рыболовные. Те всегда утверждают, что убили самого большого кабана или вытащили вот такую рыбицу. Когда их прижмешь и заставишь показать фотографию, рыба оказывается в десяток раз меньше. Марченко наслушался тюремных легенд и решил их присвоить, дабы свою историю поужаснее сделать...

Революционер отложил карандаш и с любопытством посмотрел на поэта.

— С такими взглядами, молодой человек, вы можете сделать прекрасную карьеру в лоне Союза советских писателей. Непонятно, почему вы так упорно называете себя неофициальным поэтом, неконформистом?

— Из того, что психопат попал в тюрьму, испугался и выплеснул весь свой страх на страницы дешевой папирросной бумаги, вовсе не следует...

— Я оттянул шесть лет, и я тебе говорю, что так всё там и есть. Тюрьма Софьи Васильевны именно такая.

В голосе потомственного революционера прозвучали явственно злость и раздражение.

— Даже если пару миллионов уголовников и сколько-то там десятков тысяч «политических», как вы их называете, сидят в тюрьме, Володя, то еще двести пятьдесят миллионов не сидят и, по всей вероятности, за решетку никогда не попадут. Не разумнее ли ориентироваться на эти двести пятьдесят миллионов, нежели на тюремное население...

— Если бы ты посидел, запел бы другое, поэт! Если бы тебе пришлось увидеть своего товарища, застреленного и умирающего хрипя на колючей проволоке в зоне, ты навеки бы возненавидел гадов...

Володька вскочил и заходил по комнате.

— Возненавидел бы их и поклялся бы им отомстить. Как поклялся я...

— Вот-вот, вы будете мстить, сводить счеты полувековой или по меньшей мере четвертьвековой давности и опять зальете кровью страну...

— А что плохого в крови?

Революционер подошел вплотную к прислонившемуся к дверной раме поэту (полотенце на плече) и поглядел ему в глаза.

— Кровь очищает. Пока жертвы не будут отомщены, не будет покоя России!

— Ой, блядь, как мне надоели ваши жертвы... Жертвы! Вульгарно мечтающие стать палачами. Лучше скажите, как жить сегодня. Нам, моему поколению. Мне двадцать шесть лет, Володя! Когда умер Сталин, мне было десять. Сколько можно вспоминать о позавчерашнем дне и пренебрегать днем сегодняшним? Вы люди прошлого, Володя!

Они стоят друг против друга разъяренные и злые. Это не первая их стычка. За десять дней, в которые они делят Борькину квартиру, они успели сцепиться с полдюжины раз...

Эд презирает демагогов. Он еще мог бы понять людей с оружием в руках, отстаивающих свои заблуждения. Не нравится тебе советская власть — давай, хватай автомат и действуй. Но играют взрослые люди — Володька со товарищи — в детскую игру сыщиков и воров, бегают по Москве с карманами, набитыми бумагами, прячутся от глупых, по их мнению, чекистов и похваляются перед друзьями, как ловко они нырнули в подворотню или вдруг выпрыгнули в последний момент из поезда метро. А агент не успел, дурак. Да если бы КГБ всерьез захотел, получил бы сверху приказ, они взяли бы всех демагогов и хвастунов в одну ночь. Что-то никто и никогда не слышал о Володьках и Якирах в суровые времена Йоськи Сталина. Тихо было.

«Политики» появились, потому что им разрешили появиться. Времена изменились. Власти относятся к психопатам менее серьезно. И хотя якиры, володьки и солженицыны стараются доказать, что времена не изменились, само существование якиров, володек и солженицынских свидетельствует против этого. Жулики...

Первым представителем этого типа («политиков»), встреченным Эдом, был поэт Чичибабин. Здоровенный ражий мужчина, Чичибабин «вел» (куда вел, зачем вел, но именно так тогда говорили) поэтическую секцию при Доме культуры работников милиции в Харькове. Ирония состояла в том, что в секции не было ни единого милиционера, очевидно, они не писали стихов, но было полным-полно молодых контрреволюционеров и даже «сионистов», как полусерьезно называл Бахчанян Юрку Милославского и его друзей — произраильски настроенных юношей еврейской национальности.

Впервые Эд заподозрил Чичибабина в демагогии на вечере поэзии. Тот прочел стихотворение, в котором рефреном множество раз повторялась строка: «Самые лучшие люди на свете — это рабочие». «Как же, на хуй, рабочие ему лучшие люди, — думал Эд сидя в зале. — Врешь, сука горбатая (Чичибабин горбился), я сам был рабочим и с большим удовольствием свалил из этого сословия. Я был знаком с тьмой рабочих, хуй-то они лучшие люди... В рабочих закономерно остаются те, кто не смог стать ничем большим, у кого нет таланта, то есть самые ничтожные представители человечества. Жулик ебаный. Зачем написал такое — чтобы лизнуть жопу советской власти?» Юрка Милославский с компанией были куда лучшего мнения о Чичибабине. Эд же с самого начала заподозрил бывшего зэка в неискренности и по мере узнавания его (они стали встречаться иной раз, ибо Эд прочно осел в харьковской богеме) убедился, что первое впечатление оказалось верным.

Тогда, в шестидесятые годы, бывшие зэки были в большой моде. Каждый провинциальный город обзавелся своим бородатым солженицыным. В Харькове на эту должность единогласно избрали Чичибабина. Бородатый и здоровенный, ражий и рыжий, зимою надевавший валенки (комплектом к валенкам служила вывезенная им из лагеря бывшая лагерная медсестра — рябая Мотик), Чичибин с удовольствием играл роль хмурого, настрадавшегося русака. Как и Володька-революционер, он курил махорку, заворачивая ее желтыми пальцами в газету, имел пристрастие к простому русскому языку, почерпнутому из словаря немца Даля, и старательно подчеркивал свою любовь к Мотику, которая якобы спасла ему жизнь тем, что вначале сумела перевести его в лагерный лазарет, а позже устроила на должность лагерного бухгалтера. Бывший вор и рабочий, новоиспеченный поэт Лимонов, недоверчиво глядел на это существо, более а-ля рюс, чем мог бы быть русский мужик, вытащенный внезапно из сибирской деревни. Эд всякий раз иронически хмыкал, когда в разгар всеобщей беседы и выпивки, без пятнадцати одиннадцать, Чичибин вдруг вставал, громко говорил: «Мне пора. Мотик ждет» — и удалялся горбатой походочкой. «Показушник!» — думал Эд. Харьковские интеллигенты же глядели на преданного Мотику Чичибабина с обожанием, он был для них примером нравственной чистоты. Для Эда, проведшего первую половину жизни среди блатных и рабочих, Чичибин был фраером, ловко наебывающим доверчивых интеллигентов. Заметив однажды, каким взглядом поглядел харьковский солженицын на красивую Валечку, восемнадцатилетнюю продавщицу магазина «Поэзия» (в нем тогда работала и Анна), Эд сказал Анне, смеясь: «Помяни мое слово, это ходячая нравственность скоро бросит рябого Мотика. Ему очень хочется свежатинки». Так и случилось. Харьковский солженицын бросил Мотика и женился на молодой прыщавой девке.

Володька-революционер вначале нравился Эду. Пока он в нем не разобрался. Когда он в нем разобрался, Эд сказал себе, что Володька, без сомнения, личность искренняя. Но тем хуже для Володьки, ибо тип профессионального революционера-баламута, к которому Володька принадлежит, не нужен в СССР в нашу эпоху. Без сомнения, думал Эд, наблюдая Революционера, такими и были профессиональные революционеры в свое время, прибавь или убери несколько черт. Фанатик — ненависть из него так и брызжет, — слепорожденный, ибо верит в то, что только он прав, верит в свою правду, как в Бога. А с другой стороны, что ему еще остается, Володьке: творчески он ни на что не способен. Он, правда, сочиняет перевертни в свободное от сочинений прокламаций и игр с КГБ время. Но перевертни лишь с большим трудом можно отнести к искусству. Перевертень можно использовать как прием в стихотворении, но сочинять только перевертни — маразм.

6

Жанна сдала им одну комнату в квартире из двух, и сдала немедленно. За тридцать рублей в месяц. Они не возвращались в Москву за чемоданом, но остались ночевать в Беляево. Жанна же, к их удивлению, надела белую шапку, положила на дно сумочки их тридцать рублей и отправилась в обратный путь в Москву, в квартиру своей мамочки, где она оставила пятилетнего сына. Счастливы тем, что хотя бы на одну ночь остались одни, Эд и Анна посидели на кухне, постояли у открытого окна, глядя в желто-ржавое поле и зиявший через дорогу еловый лес, и легли спать. История умалчивает о том, занимались ли они в ту ночь любовью,

Читайте также

Эдуард Лимонов «УКРОЩЕНИЕ ТИГРА В ПАРИЖЕ»



«Писатель привез дикое животное из Лос-Анджелеса. То есть тогда писатель не подозревал, что оно дикое, иначе ни за что не позволил бы себе пригласить эту здоровенную русскую кошку с широкими плечами, грудью, тронутой шрамами ожогов, с длинными ногами в постоянных синяках в свое монашеское обиталище. Увы, писатель открыл, что зверь дикий, а не домашний, слишком поздно».

Писатель — это Эдичка, вечный герой Эдуарда Лимонова, путешествующего по свету в поисках новых литературных сюжетов. Дикое животное — певица и писательница Наталья Медведева, с которой Эдичка живет в крохотной квартирке в Марэ. Это роман о любви и страсти, в котором Лимонов творит миф из их полных драматизма и нервного надрыва отношений, роман о счастье как проклятье.